

200 лет назад на Бородинском поле
судьбы Европы и мира переплелись
в тугой клубок с судьбами десятков
тысяч оказавшихся на этом поле
людей, многим из которых не
суждено было пережить эти
августовские дни...

С. Тепляков

Бородино

роман



Сергей Тепляков

Бородино

«Автор»

2011

Тепляков С. А.

Бородино / С. А. Тепляков — «Автор», 2011

Роман «Бородино» рассказывает о пяти днях (с 22-го по 27-е) августа 1812 года. В числе главных действующих лиц не только предводители войск – Наполеон, Кутузов, Багратион, Барклай-де-Толли – но и люди в малых чинах: Генрих Брандт из Висленского легиона Великой Армии, лейтенант Гарден из французского 57-го линейного полка, русские офицеры братья Муравьевы и еще немалое число других больших и малых персонажей. Некоторые из них появляются перед взглядом читателя однажды и пропадают навсегда, как это нередко бывает в жизни, и особенно часто – на войне...

© Тепляков С. А., 2011

© Автор, 2011

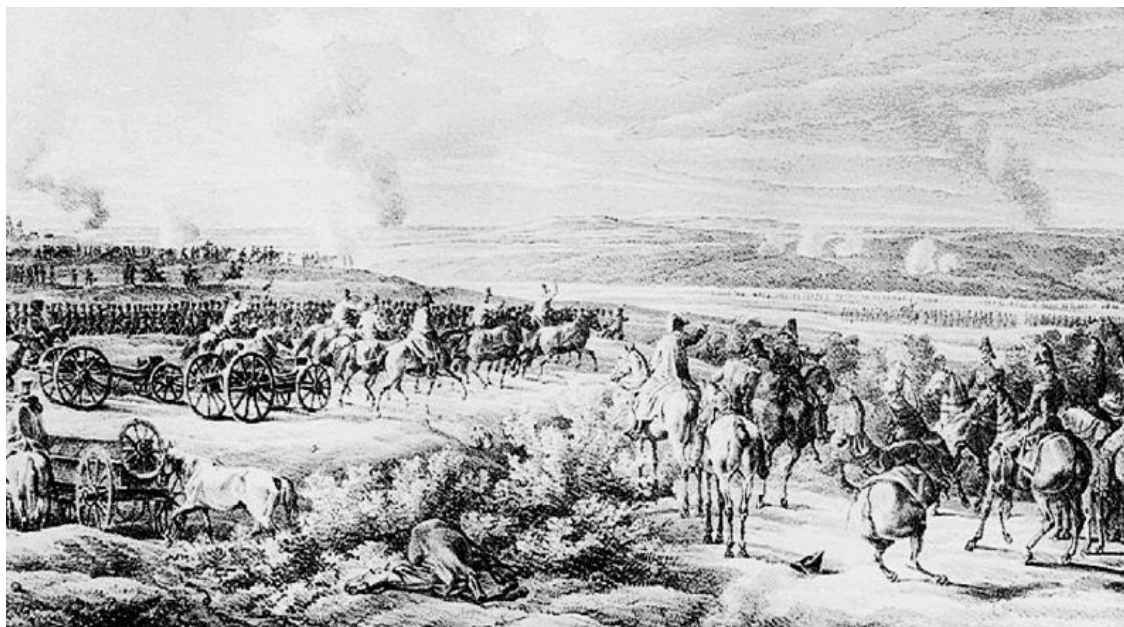
Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	14
Глава четвертая	17
Глава пятая	19
Глава шестая	20
Глава седьмая	22
Глава восьмая	24
Глава девятая	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Сергей Тепляков

Бородино

Часть первая



Глава первая

– Канонада, вы слышите, Брандт? – сказал поручик Висленского легиона Гордон своему товарищу.

– Конечно. Как же её не слышать... – отвечал Генрих Брандт, 23-летний молодой человек. – Может русские всё же отважатся на сражение? Если они отступят ещё немного, наша армия развалится совсем...

– Так может в этом и есть их интерес? – усмехнувшись, сказал Гордон.

Гордон и Брандт были товарищами в этом походе, и положение дел в Великой Армии было едва не главной темой их разговоров в течение этого путешествия, начавшегося для Висленского легиона ещё в марте, 22-го числа, когда легион вышел в Париже на императорский смотр. Всю весну Великая армия двигалась к русским границам, проедая в Европе коридор, как прожорливая гусеница проедает свой путь в листе дерева.

В мае легион пришел в Познань, поблизости от которой было имение родителей Брандта Стржельново. Чтобы повидаться, у Брандта был всего день, да он больше и не выдержал бы: имение от провозглашённой Наполеоном континентальной системы пришло в упадок, а продвигавшаяся через него Великая Армия разорила несчастных родителей Брандта совершенно. Сначала у них стоял маршал Ней со своим штабом, потом – кронпринц Вюртембергский Вильгельм. Целый батальон устроил бивак прямо во дворе господского дома – солдаты жили, не стесняясь. Когда Брандт приехал, крепкие запахи этого бивака чувствовались по всему саду, по всему дому. Отец Брандта сказал: «Ты, сын мой, знал лучшие дни, а теперь пришёл в дом нищего» – и заплакал. Этого юноша перенести не мог. Тут как раз прибежал кто-то из слуг со словами, что проходящие мимо французские солдаты выгребают с сеновалов последнее сено. Брандт вскочил в седло и понёсся к сеновалам в таком же ослеплении, в каком ещё недавно бро-

сался в атаку на испанских гверильясов. Однако тут была не Испания: командовавший французами офицер извинялся, твердил, что за всё выдаёт квитанции и особенно часто повторял, что от него самого, собственно, немного что зависит. «Поймите, я отвечаю перед императором за сохранение материала»... – сказал офицер Брандту, под «материалом» имея в виду солдат, офицеров и лошадей. Брандт понимал, что и он сам – «материал», и что кто-то ради сохранения в строю его, Брандта, и его солдат, сейчас так же вычищает чьи-то сеновалы, подвалы и погреба. Всё это не вмещалось в голову. Чтобы жить, надо было забывать.

Забывать – Брандту это было не впервой. Он был пруссак по рождению, и в 1806 году, 17-ти лет от роду, записался в прусскую армию, чтобы сражаться с Наполеоном. После Йены и Ауэрштедта, после Прейсиш-Эйлау и Фридланда, армия разгромленной Пруссии была разогнана, а половина Пруссии роздана Наполеоном русским и полякам. Пруссакам в этом мире некого было любить, а ненавидеть надо было бы столь многих, что и от ненависти приходилось отказаться. Брандт запутался, и только это-то – что запутался – и понимал ясно. (Впрочем, запутался не он один: Гегель, такой же как и Брандт, пруссак, в день вступления Наполеона в Йену написал о нём «мировая душа». У Гегеля, впрочем, имелась подходящая теория, согласно которой всемирно-исторические личности, каковой Наполеон очевидно был, являются доверенными лицами всемирного духа – а где уж нам, смертным, против всемирного духа? «Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает весь мир и властвует над ним», – писал Гегель накануне того дня, когда его родина получила от «мировой души» едва ли не смертельный удар).

Брандт пытался через знавших его генерала Блюхера и майора Шилля, прославившиеся своей партизанской войной против французов в окрестностях крепости Кольберг, записаться в новую прусскую армию, но те ничем не смогли ему помочь. Из той части Пруссии, где Брандт жил, по Тильзитскому миру 1807 года было создано Великое герцогство Варшавское. Так Брандт совершенно неожиданно для себя оказался польским подданным, а распорядившееся его прусско-польской судьбой французское правительство призвало его на военную службу, определив в Висленский легион и на три года отправив на войну в Испанию.

Поляки, которыми командовал Брандт, надеялись, что за службу Наполеону наградой им будет восстановление Польши. Ради этого 30 ноября 1808 года Козетульский летел со своим эскадром по горной дороге на перевале Сомосьерра – на каждом повороте этой дороги испанцы поливали атакующих картечью. Поворотов было четыре: на трёх стояло по две пушки, на последнем, четвёртом – десять. Из двухсот человек, закричавших «Нех жие цезар!» и бросившихся вслед за Козетульским, через десять минут уцелели только сорок – по одному из пяти. Брандт не был в этой атаке – ему рассказывали о ней, как и о других случаях чудесной храбрости и невероятного мужества. (Брандту странно было, что герой этой истории жив – вон он, Козетульский, шеф эскадрона в 1-м полку шевольжёров-пикинёров Императорской гвардии). Брандт, участвовавший в сотне больших и малых схваток, стычек и боёв, имевший к концу службы в Испании два ордена, две раны и контузию, и сам много чего мог рассказать и рассказывал. (Так мальчишки, набрав в реке красивых камней, хвастаются ими друг перед другом, пока камни, обсохнув, не потеряют свой блеск и вместе с ним – почти всю красоту).

Однако награды всё не было – Польшу Наполеон не восстанавливал. Вместо этого он отделялся от поляков разными побрякушками – вот, например, Висленский легион был причислен к его гвардии. Это было, конечно, лестно, но это была не Польша.

Поначалу Брандт старался не думать, почему он служит тому, с кем должен бороться. А потом стало и вовсе не до этих мыслей. Лишь иногда доходившие из Европы в Испанию глухие слухи кололи его совесть раскалённой иглой.

Как-то раз Брандт узнал, что майор Шилль весной 1809 года поднял свой гусарский полк на восстание против французов. Брандт узнал об этом много позже – в Испанию такие вести доходили медленно. Он временами спрашивал себя – на что рассчитывал Шилль, отправля-

ясь в свой последний поход? Наверняка надеялся, что и пруссаки поднимутся, как испанцы. Но пруссаки не поднялись, против Шилля выслали войска, он заперся со своими солдатами в Штральзунде и там 31 мая 1809 года погиб в отчаянном бою. Из его солдат и офицеров некоторые спаслись, пробравшись в Пруссию, но 12 офицеров были взяты французами и расстреляны. Брандт иногда думал, что и он ведь, помощи ему тогда Блюхер и Шилль, мог быть среди этих двенадцати, или среди тех, кто погиб на окровавленных мостовых Штральзунда.

Шилль не был похож на героя – пухлощёкий, коротконогий, вспыльчивый. Но он погиб за свободу Пруссии – о такой смерти мечтал и сам Брандт, бросая в 1806 году университет и поступая в армию. Вместо этого он состоит во французской армии, им командует французский генерал, на нём синий французский мундир, и он идет воевать с Россией. Всё запуталось. И только это – что всё запуталось – было ясно.

Поход в Россию отнимал много сил – и в этом было для Брандта благо: некогда было думать над теми вопросами, которые разъедали его душу.

Висленский легион форсировал Неман 26 июня по французскому счёту дат (14-го – по русскому). Рубикон этот не произвел на поляков особого впечатления. Первую неделю похода проливные дожди шли днём и ночью. Земля размокала так, что даже самые закалённые не могли спать на этом ложе из скользкой глины. (По обычаю тех лет, Великая Армия, кроме гвардии, не имела палаток и на ночлег все устраивались вокруг костров – ногами к огню).

Потом наступила тропическая жара. Колонны шли целыми днями без воды. Любая лужа процеживалась, выпивалась, вымакивалась тряпицами. Тысячи ног поднимали такую пыль, что казалось, будто её можно резать ножом. Люди набивали себе рот листьями деревьев, чтобы сохранить хоть немного слюны. Обозные лошадёнки, набранные в Польше и Пруссии, началидохнуть. Объявилось огромное число мародёров, совершенно не стеснявшихся своего занятия – из награбленного добра они устраивали *свои* обозы, шедшие параллельно с Великой Армией, и по ночам располагались в *своих* лагерях – чтобы не делиться провиантом с теми, кто ещё оставался в рядах.

Молодые солдаты отставали от своих частей и умирали вдоль дорог. Не прошло и двух недель после начала похода, а в Висленском легионе убыль людей была такова, что командовавший им генерал Клапаред пришел в ярость. Только в Минске поляки подкормились и пришли в себя.

В Минске поляки увидели необычный «парад»: один из полков дивизии Компана, набранный в северо-германских землях, на виду у всей армии «парадировал» с поднятыми кверху прикладами ружьями. Так маршал Даву хотел наказать полк, почти совершенно разбежавшийся за две с небольшим недели похода. Наказание вряд ли вразумило сам полк и уж точно не добавило оптимизма тем, кто за этим наказанием наблюдал. Барон Юзеф Хлузович, полковой командир Брандта, сказал тогда ему: «Вот увидите, что император впадёт в ошибку Карла XII: он оставляет в тылу своёму неустроенную Польшу, разорённую Литву, и с нами будет то же, что было со шведами»...

Призрак шведского короля являлся в те месяцы обоим сторонам (генерал Балашов, выехав к Наполеону для прояснения его намерений ещё в самом начале войны, на вопрос императора о лучшей дороге на Москву будто бы дерзко ответил: «Карл XII шёл через Полтаву»). В Висленском же легионе служили многие из тех, чьи предки сто лет назад шли в Россию со шведским королём.

Впрочем, чем ближе к Москве, тем чаще неприятные для поляков воспоминания сменялись славными историями из их прошлого. Сначала это был Смоленск, который поляки уже брали за двести лет до этого, в Смутное время. Товарищи Брандта считали, что если Великая Армия возьмёт Смоленск, то не устоит и Москва. А подходя 31 августа к Царёво-Займишу, поляки вспоминали, как 4 июля 1610 года на этом месте гетманом Жолковским были разбиты

русско-шведские войска, после чего поляки осадили и взяли Москву, где провозгласили королевича Владислава царём московским.

Однако надежды на то, что русские под Царёво-Займищем дадут неприятелю бой, не сбылись – русские отступили вновь. Но потом в Великой Армии стало известно, что у русских сменился главнокомандующий. Французы хоть и прозвали Кутузова тут же «беглец Аустерлица», но по всему чувствовали, что этот беглец покажет себя. О близости битвы говорило многое: Наполеон собрал армию, подтянув отсталые полки. Войска пополнились патронами, запаслись продовольствием, генералы посчитали живых. Всё шло к тому, что быть битве, большой битве – иной не может быть, если каждая из сторон имеет армию числом по сто с лишним тысяч человек.

5 сентября (24 августа по русскому счёту) поляки вышли в поход от деревни Гряднево вместе с корпусами Даву и Нея. Едва начался марш, как впереди послышался гул.

Вот тут-то поручик Гордон и сказал:

– Канонада, вы слышите, Брандт?

– Конечно. Как же её не слышать... – отвечал Генрих Брандт. – Может русские всё же отважатся на сражение? Если они отступят ещё немного, наша армия развалится совсем...

– Так может в этом и есть их интерес? – усмехнувшись, сказал Гордон.

– У русских теперь новый командир – Кутузов, – сказал Брандт. – Может, это нас и спасёт: он даст нам сражение, мы его разобьём, и Наполеон с Александром наконец помириятся снова...

(О том, что у русской армии новый предводитель, стало известно совсем недавно, 20 августа, когда французам в Гжатске попались в плен два платовских казака, один из которых был атаманским поваром, а кроме того – негром!).

– Может, он захочет отомстить нам за 1805 год? А может и нет... – сказал Гордон. – Он ведь может сдать нам Москву, как австрийцы сдавали императору Вену, и как вы, пруссаки, уж извините, Брандт, сдавали Берлин – ни тем, ни другим это не мешало после сражаться...

Их лошади шли шагом. Вокруг двумя громадными колоннами двигалась Великая Армия: бесчисленное количество людей, лошадей, повозок, пушек. Корпуса Даву и Нея упирались друг в друга. Временами с высот были видны громадные массы войск впереди. Кроме пушечного грома, уже слышалась иногда и ружейная стрельба. Солдаты приободрились, оживились, их переполняла та нервная энергия, которая вызывается близостью опасности и смерти.

Поляки миновали лес. Они приближались к Колоцкому монастырю, где шёл бой, однако когда поляки пришли туда, бой уже кончился и русский арьергард отступил к деревне Валуево. Брандт видел, что вправо идет корпус Понятовского. Съехав с холма в долину, Брандт и Гордон вдруг увидели Наполеона. До этого Брандт уже видел в походе императора: первый раз под Вильной, под дождём, который стекал у Наполеона со шляпы и с его знаменитого серого сюртука, потом под Смоленском, где при Наполеоне, подъехавшем к Мстиславльскому форштадту, было лишь двое адъютантов (правда, позади ехали конные егеря гвардии]. Наполеон поговорил с генералами, посмотрел на Смоленск в подзорную трубу и уехал. Нынче же при каждой остановке польские уланы и гвардейские егеря окружали Наполеона, словно прикрывая собой.

Брандт и Гордон въехали на пригорок и увидели вдалеке то, что рассматривал в трубу Наполеон: вправо от дороги, не так уж и далеко от Валуева, была укреплённая русскими высота, позади которой виднелись линии войск. Войска, проходившие пригорок, на котором остановились Гордон и Брандт, тоже увидели русские линии. Раздались крики: «Да здравствует император!».

– Это русские! Они ждут нас! Наконец-то будет битва! – кричал какой-то офицер, ехавший сбоку от колонны пехоты. Пехотинцы в ответ радостно взревели снова: «Да здравствует император!».

Глава вторая

Первыми, ещё 22 августа (3 сентября по европейскому исчислению дат), на поле, которое с тех пор вот уже 200 лет называют Бородинским, приехали квартирмейстеры. Потом, ранним утром 22-го, сюда, опередив армию, прибыли Главный штаб и Кутузов.

Это была уже четвёртая позиция, которую он осматривал за пять дней, прошедшие со дня прибытия его к армии.

Кутузов понимал, что пора на что-то решаться. Его ведь и назначили главнокомандующим всеми российскими войсками только потому, что отступление как стратегический приём уже не понимали и не принимали ни штатские, ни военные.

Кутузову было далеко за шестьдесят (историки не сходятся в определении года его рождения – по одним бумагам 1745-й, по другим – 1747-й). В первый раз на войну он попал ещё в 1764 году – целая жизнь отделяла его от тех первых стычек с поляками. Голову его дважды простреливала турецкая пуля, проходя почти в одном и том же месте – от виска до виска за лобной костью. Удивительным образом он остался жив и даже правым глазом, который многие и современники, а тем более потомки полагали незрячим, видел. Но никому про это не говорил.

Привычка многое, если не всё, держать в себе, осталась в Кутузове после того, как ещё в армии Румянцева, молодым, ещё до своего тяжкого ранения, он имел неосторожность передразнить главнокомандующего, показав его походку и некоторые ухватки. Хоть шутка это была показана в тесном приятельском кругу штабных офицеров, но Румянцев как-то узнал о ней и осерчал – да может ещё и рассказали так, что не осерчать было невозможно. Шутка едва не стоила Кутузову жизни: из румянцевской армии его перевели в армию князя Долгорукого, где и подкараулила его турецкая пуля в правый висок.

Через десять с небольшим лет, под Очаковым, пуля ударила снова в то же место и прошла почти тем же путём. Сослуживцы решили, что второй раз чуда не будет, но сам Кутузов помнил, что когда временами голова прояснялась, он отчётливо знал, что чудо произойдёт и сейчас – выживет он. Когда Кутузов пошёл на поправку, один из врачей, рассказывали ему, сказал, что, видать, судьба бережёт его для великих дел. И нередко потом Кутузов примеривал свои походы к этим словам – это что ли великое дело, ради которого дважды Господь отвёл от него смерть? Но даже при взятии Измаила, когда Кутузов едва ли не единственный из всех начальников колонн уцелел, были у него сомнения в том, что именно для этого оставлена ему жизнь. С турками Россия воевала едва ли не каждые два-три года и была их всегда. Кутузов понимал, что взяли бы Измаил и без него.

В 1805 году казалось – вот оно. Когда Наполеон заманил Макка в ловушку, взял его армию в плен и армия Кутузова осталась одна против французов, Кутузов решил, что как раз для спасения русской армии и русской чести оставлен он на земле. Чудом выскользнув из многочисленных французских капканов, задерживая французов обречёнными на гибель арьергардами, Кутузов прошёл с армией больше 400 вёрст, и ушёл-таки, спасся. Он и вовсе предлагал отойти к границам России, подкрепиться войсками, и начать всё заново, но приехавшие к войскам императоры Александр и Франц решили, что удача на их стороне. Они оба были ослеплены: Франц – жадой мести, желанием вернуться в свою столицу, занятую французами, на белом коне, Александр, которому тогда не было и тридцати, молодостью и той великой ролью, которая, как он думал, ему выпадает.

Царь с детства любил войну. Когда-то императрица Екатерина написала об Александре в письме: «На днях он узнал об Александре Великом. Он попросил лично с ним познакомиться и совсем огорчился, узнав, что его уже нет в живых. Он очень о нём сожалеет». Царь и глуховат был потому, что в юности на маневрах в Гатчине всегда становился поближе к пушкам. Но если

Константин Павлович был с Суворовым в Швейцарском походе, то для Александра кампания 1805 года была первой. Он упивался ею. Составлявшие близкий круг молодые советники царя также были в восторге от войны.

К тому же, по извечной русской (да и не только русской) привычке, отчёты об арьергардных боях были один другого лучше. В результате царь и его окружение полагали, что дела идут превосходно. Все они уже видели себя низвергателями титана. Наполеон откуда-то прознал об этих настроениях в русской Главной квартире, и для пущего их поддержания отослал к царю своего адъютанта Савари с письмом: «Я поручаю моему адъютанту выразить Вам всё моё уважение и сообщить Вам, насколько я хотел бы снискать Вашу дружбу. Примите же это послание с добротой, которая Вас отличает, и помните, что я всегда являюсь тем, кто несказанно желает быть приятным Вам».

В своём ответе Александр решил поставить «высочку» на место, и ответное письмо адресовал «главе французского правительства», а не императору Наполеону, а князь Долгорукий, один из молодых друзей царя, приехав затем к Наполеону, полагал, что должен продиктовать ему условия капитуляции. И продиктовал. Да такие, что Наполеон потом сказал своим генералам: «Эти люди считают, что нас осталось только слопать». Однако ему надо было выиграть время, чтобы подтянуть войска, и он продолжил ломать комедию.

Заикнись Кутузов царю перед Аустерлицем о необходимости отказаться от битвы – повелит ли Александр Кутузову? К тому же, Кутузов был слишком царедворец: ещё в екатерининские времена он вставал чуть свет и спешил в дом к Платону Зубову, фавориту императрицы, где готовил кофе и лично подавал его в кофейнике Платону в постель. Кадеты корпуса, где Кутузов был директором, кричали вслед его коляске: «Хвост Зубова! Подлец!». Кутузов делал вид, что не слышит: молодые ещё, подрастут – поймут, *будут и у них свои кофейники...*

Кутузов был по натуре раб, сторожевой пёс, который загрызёт волка, но позволяет хозяину бить себя палкой. Но ведь и все остальные были рабы. Смысл жизни был в том, чтобы, оттерев других, протиснуться ближе к хозяину и подставить голову – авось погладит... Кутузову жаловаться было грех: Екатерина его отличала, да и при Павле он в опалу не попал. Странной шуткой судьбы Кутузов был одним из девятнадцати человек, присутствовавших на том самом ужине у императора вечером 11 марта, во время которого Павел сказал чихнувшему цесаревичу Александру: «За исполнение всех ваших желаний!», а в конце посмотрел на себя в зеркало и сказал, обратившись почему-то именно к Кутузову: «Посмотрите, как смешно – я вижу себя с шеей на сторону!». И добавил ему же уходя: «На тот свет иттить – не котомки шить». Когда наутро Кутузов узнал о страшной смерти императора, волосы зашевелились у него на голове...

При Аустерлице Кутузов решил: будь что будет. Была ещё к тому же надежда на то, что союзное войско велико – сто тысяч сразу не перебеёшь, а если упрутся, то ещё неизвестно, чья возьмёт. Но после прорыва центра позиции армия бежала. Кутузов снова был ранен в голову, только на этот раз пуля попала в щёку, вершок с небольшим не дотянув до виска. Кутузов понял, что это было такое напоминание: не сейчас, подожди...

И вот нынче без сомнения время пришло. Не в девяносто же лет Господь будет его испытывать, думал Кутузов, холодным утром 22 августа объезжая поле в крытых дрожках (верхом на лошади по причине тучности и больных ног Кутузов ездил редко и недолго). Да и когда снова родится такой противник как Наполеон?

Коляска остановилась. Кавалькада штабных подъехала, офицеры спешили, к Кутузову подошел Карл Толь, эстляндец 35 лет с лицом и глазами заводного болванчика, штабной из армии Барклая, полковник по чину, но один из главных людей в армии по положению, при Кутузове совершенно оттеснивший от дел генерал-квартирмейстера Вистицкого, высокого худощавого старика, который теперь демонстративно держался в стороне. (Симпатия и вера

Кутузова в Толя основывалась на том, что ещё в кадетском корпусе Толь был у него лучшим учеником и разных глупостей вслед своему директору не кричал).

– Правый наш фланг хорошо прикрыт рекой, центр – оврагами, а наш левый фланг мы упрём в высоту... – пояснял Толь Кутузову. – Это лучшее место, другого такого уж до самой Москвы не найти.

Кутузов поднял голову и медленно окинул взглядом огромное поле, ещё пустое от войск.

Генералы выжидательно смотрели на Кутузова. 18 августа была оставлена позиция при Царёвом-Займище по той причине, что будто бы она слишком велика для армии. В штабе же говорили, что причина лишь в том, что позицию эту выбирал генерал Леонтий Беннигсен, которого Кутузов показательно почему-то не жаловал. (Ганноверец Беннигсен был одним из убийц Павла Первого, а по рассказам выходило, что если бы не Беннигсен, то и убийства бы не было – разбежались бы заговорщики ещё на подходах к Михайловскому замку. Всех заговорщиков новый царь разогнал по разным тьмутараканям, а вот Беннигсена оставил – воевать ганноверец умел как никто, и даже в 1807 году под Прейсиш-Эйлау сумел устоять против самого Наполеона. При этом, ни на цареубийцу, ни на старого вояку генерал не был похож – на продолговатом лице помещался вислый нос и круглые коровьи глаза. Но Кутузов всё никак не мог забыть, что это – цареубийца, и от взгляда на это лицо с добрыми коровьими глазами Кутузова всегда бросало в дрожь).

На самом деле от Царёва-Займища армия ушла лишь потому, что Кутузов не хотел битвы. Получив 16 августа от Барклая письмо об избрании этой позиции и намерении дать здесь генеральную битву, Кутузов даже обрадовался: тут же написал, что по причине плохой погоды сможет приехать только 17-го, а то и вовсе 18-го, но пояснил, что «сие моё замедление ни в чём не препятствует вашему превосходительству производить в действие предпринятый вами план до прибытия моего».

Однако и Барклай был давно не мальчик и всё отлично понимал: проиграет он битву – будет виноват он, а выиграет – победит Кутузов. Барклай дождался Кутузова, который, приехав, приказал отходить. Свои резоны у него были: в Гжатск и Можайск должны были придти пополнения. Так и вышло: сначала в Гжатске к армии присоединились 14 тысяч рекрутов Милорадовича, потом из Можайска пришли 10 тысяч Московской военной силы (ополчения). Больше рассчитывать было не на что. Хочешь-не хочешь, а надо было принимать бой.

Нынешнюю позицию выбирал Карл Толь, и чем она была лучше прежних, видимо, только Толю и было ведомо.

– Упаси нас Бог от таких лучших мест! – с силой проговорил стоявший тут же Багратион, главнокомандующий Второй армией. – Левый фланг находится в величайшей опасности. Если принять, что он опирается на высоту у деревни Шевардино, то весь левый фланг подвержен будет опасности обхода, и даже в тыл наш французы выйдут, если захотят!

Багратиону не приходилось стесняться в выражениях – в 1805 году он был у Кутузова в арьергарде, чудом спасал армию и сам чудом оставался жив, то храбростью, то обманом удерживая французов. Да ещё и тень Суворова маячила за ним – в Итальянском и Швейцарском походе добыл Багратион свою первую славу. Она же доставила ему необычную награду: Павел Первый, узнав, что попавший тогда в большую моду Багратион тайно влюблен в юную фрейлину императрицы графиню Екатерину Скавронскую (чёрные горбоносые грузины во все времена влюблялись в фарфоровых кукол с громадными голубыми глазами), после маневров в Гатчине вдруг объявил о венчании Скавронской и Багратиона. Багратион был рад сюрпризу императора, а вот 17-летняя графиня – нет: вскоре после венчания она уехала в Европу и с тех пор не показывалась более в России. Багратион, надеясь на что-то, тщательно сохранял видимость приличий, и когда его жену обошли орденом святой Екатерины, пожалованным всем супругам участвовавшим в кампании 1805 года генералов, обиделся. Александр пожаловал орден и ей.

Героя-генерала уже 25 лет не брали ни пули, ни картечь, ни штык, зато Екатерина Багратион раз за разом ранила Багратиона в самое сердце. В 1810 году вдруг стало известно, что она родила дочь. Судачили, что это – плод любви княгини и австрийского министра иностранных дел Клеменса Меттерниха. Багратион не знал, как после этого появляться в свете, да ещё как назло с турецкой войны он уехал, а другой войны для него у России тогда не было. Хотя дочь назвали без особой конспирации Клементиною, но по настоянию царя записали в роду Багратионов. Почему Багратион согласился на это? Может, и он был только рабом, а может, это была просто любовь, всепрощение. Перед самой войной князь заказал художнику два портрета – свой и Екатерины, – но увидеть их уже не успел...

В нынешнюю кампанию Багратион чудом спасся от окружения и разгрома, и уже то, что он пришёл в Смоленск на соединение с 1-й армией Барклая было счастье. В Смоленске предполагалось контрнаступление, и оно даже началось, но Барклай всё время опасался хитростей своего великого противника, не замечая, что Наполеон уже далеко не тот, что прежде (18 дней он провел в Вильно, а потом две недели – в Витебске, упуская шансы разбить Багратиона и Барклая по отдельности), или не смея верить этому. В конце концов, Барклай приказал оставить Смоленск. Багратион считал, что этим упущен большой шанс, но Барклай как военный министр был по должности выше – приходилось подчиняться. Теперь пришёл Кутузов. Преклонение Багратиона перед Кутузовым почти полностью выдуманно позднейшими историками. На самом деле назначение это уязвило Багратиона – он и себя считал достойным этого поста, а Кутузова после Аустерлица ценил невысоко (в 1811 году писал Барклаю о Кутузове: «Его превосходительство имеет особый талант драться неудачно и войска хорошие ставить на оборонительном положении, по сему самому вселяет в них и робость»).

Багратион знал в общем-то, что советовать Кутузову невозможно, и чужие мнения для него не значат ничего, и понимал, что на самом деле лучше было бы ему, Багратиону, молчать, но не мог – трёхмесячное отступление крайне измотало его и физически, но больше того – душевно. Ему хотелось битвы, как другим хочется отдыха. Ему казалось, что битва всё разъяснит.

Кутузов помолчал, посмотрел в разные стороны, поворачиваясь всем телом.

– Не слишком-то она и хороша, позиция твоя, Карл Фёдорович... – наконец сказал он. – Князь Пётр Иванович прав: левый фланг выдвинут под удар, да и тыл открыт – а ведь не с турками воевать...

Толь переглянулся с кем-то из офицеров. Свитские сделали каменные лица. Кутузов понял: все ждут, что он начнет распекасть Толя. Но он не собирался делать это вообще, а тем более на людях. Если надо дать сражение, то не всё ли равно, где? Тем более, были у позиции и плюсы: обрывистые берега реки Колочи, труднопреодолимые и для пехоты, овраги, которые должны были помешать движению конницы. Поле боя должно создавать неприятелю как можно больше проблем – и если грамотно распорядиться, то на этом поле французов ждало множество сложностей.

– То хорошо, что наш правый фланг прикроет река. Левый можно усилить фортификациями... Пусть твои офицеры быстрее составят кроки... – сказал Кутузов Толю. – Там и поглядим... Да выбери места для шанцев и мне представь.

После этого он влез в сильно кренящуюся под ним коляску и уехал. Толь остался посреди своей свиты, состоящей из квартирмейстерских офицеров разного возраста.

В 10 часов утра на поле пришла армия и заняла его от края до края. Корпуса встали на поле в той же последовательности, как шли на марше. (Так невольно каждый вытащил из лотерейного барабана свою судьбу – шла бы армия Багратиона в голове колонны, и тогда ей достался бы правый фланг бородинской позиции, а флешы может быть именовались бы Барклаевы). Войска обустривались на поле. В особое радостное изумление всех привела река – стоянки у воды были крайне редки, и теперь солдаты бросились к Колоче с разными своими нуж-

дами, плотно облепив её берега. (Солдаты лейб-егерского полка, занявшие Бородино, решили воспользоваться невиданной за весь поход стоянкой в деревне и устроить баню. Потом эта баня будет стоять жизни половине из них).

Глава третья

Среди многих тысяч людей был на этом поле человек, для которого всё оно, с его оврагами, ручьями, реками и лесами, было родной дом – Денис Давыдов.

Село Бородино было имением его семьи, на этих полях он вырос, а на том кургане, где потом была устроена батарея Раевского, читал газеты с описанием суворовских походов по Италии и Швейцарии.

– Вот видите – речка. Называется она Колоча, старики говорили, будто от слова «коло-тить»... – урок бородинской географии Денис Давыдов устроил для своего товарища, штабс-ротмистра Ахтырского гусарского полка Бедряги. – В Колочу впадают ручьи Огник, Стонец и речка Война. Мальчишкой я думал – что же было на этом поле, если у этих речек и ручьёв такие имена? Думалось мне, что когда-то давно сходились здесь в схватках богатыри. Всё мечтал найти где-нибудь в траве древний меч...

Давыдов умолк. Он смотрел на поле и не узнавал его: неужто и правда именно здесь бегал он со своими собаками, пытаясь быстрее них догнать зайца?

– Так может мы и остановимся в вашем доме, Денис Васильевич? – спросил Бедряга.

– Где уж – там уже всё занято генералами! – ответил с усмешкой Давыдов. – Сараи заняты штабными, нам, простым гусарским офицерам, остается ночевать на земле.

– А что же с вашей затеей идти в тылы французские с партией гусар и казаков? – осторожно спросил Бедряга. Он знал, что для Давыдова это больной вопрос – на днях Давыдов отправил князю Багратиону, у которого прежде состоял пять лет адъютантом, об этом письмо. Однако Давыдов, неожиданно для Бедряги, улыбнулся.

– Да вот вчера князь вызывал меня к себе, выслушал, и обещал пойти с моей идеей к светлейшему! Вчера же и хотел пойти, да Кутузов был весь день занят, так что сегодня у них должен быть обо мне разговор. А если даст Кутузов добро, пойдёшь со мной, Бедряга?!

Бедряга вспыхнул:

– Да я за вами, Денис Васильевич, в огонь и в воду!

Давыдов был его кумир, да и для многих – кумир: в свои 28 лет он был уже подполковник, а жизнь его уже в эти годы была то легенда, а то байка. При начале карьеры Давыдов попал в кавалергарды, но за едкие стихи о первых лицах государства переведён в армейский гусарский полк, что, впрочем, скоро понравилось ему уже хотя бы от того, что гусарам, чуть не единственным в русской армии, разрешались усы (из-за усов уже много после войны была у Давыдова история – его переводили служить в конно-егерскую бригаду, при этом он не только терял чин, но и усы должен был брить – егерям они не полагались. Давыдов в отчаянии написал царю рапорт о том, что не может командовать егерями из-за усов. Александру это письмо попало в хорошую минуту – Давыдову был возвращён чин и его назначили командовать вместо егерей гусарами).

Может, стихи и спасли его – кавалергарды в 1805 году ушли в поход, и при Аустерлице погибли почти все. Но Давыдов считал, что судьба, спасши его, нанесла ему оскорбление, и потому решил пробиться на войну любым способом. В кампанию 1806 года он, чтобы потребовать назначения в передовые войска, ночью пробрался в спальню к русскому главнокомандующему фельдмаршалу Каменскому, которому было тогда почти семьдесят лет. Каменский и так был плох, а явление Давыдова просто добило его: через несколько дней фельдмаршал, крича что-то вроде «Спасайтесь кто может!», бросил армию. Каменский был при этом в заячем тулупчике и бабьем платке. В 1807 году Давыдов, состоя адъютантом при Багратионе, отличился при Прейсиш-Эйлау, а потом, в Тильзите, куда его послал вместо себя Багратион, столкнулся нос к носу с Наполеоном. Давыдов любил рассказывать о том, как Наполеон устался

на него и как он не только выдержал взгляд императора французов, но и вынудил его отвести глаза.

Идея рейдов по французским тылам появилась у Давыдова едва ли не с начала похода – кто-то сказал тогда, что у Наполеона с собой только на 20 дней провианту. «А что же он будет делать потом? – подумал, услышав это, Давыдов. – Если отбирать у него обозы и резать фуражиров, так его армия от голода помрёт». К тому же, отступление тягостно, как на всех, действовало на него. Давыдову казалось, что пользы от него на этой войне – ни на грош, а Давыдов привык, что на каждом театре войны есть для него хоть маленькая, но не из последних, роль.

Ещё в июле Барклай-де-Толли создал «летучий отряд» барона Винцингероде, и приказал атаману Платову призывать крестьян на борьбу с неприятелем. Однако крестьяне не больно-то поднимались – боялись, как бы после замирения Александра с Наполеоном не взыскали с них за излишнее усердие. Винцингероде, получив немалые силы, чувствовал себя почти армией, а в августе был направлен прикрывать дорогу на Петербург, на которой и стоял. Давыдов считал, что «партизанить» надо не так: не дожидаться, пока неприятель придёт к тебе сам, а идти навстречу ему. Ловить, мешать, делать жизнь неприятеля на чужой земле невыносимой – вот предназначение партизана. (Отдельным удовольствием для Давыдова было то, что в этом случае он был сам себе царь, Бог и воинский начальник).

Разговор с Багратионом накануне получился не совсем такой, как хотелось Давыдову, но это, думал он теперь, видимо, было и хорошо. Начав говорить, Давыдов вдруг сорвался и речь его стала горячее, чем нужно было, горячее даже, чем он сам от себя, при всей привычке к себе, ожидал: наговорил про то, что Барклай отступал, но и Кутузов отступает, что, если так дело пойдёт и дальше, то Москва будет взята, в ней императоры подпишут мир, и русские пойдут в Индию сражаться за французов! Вот эта Индия особенно мучила всех в русской армии – в 1801 году казаки ведь уже и тронулись туда в поход – только смерть императора Павла спасла их тогда (Александр велел казакам возвращаться).

– Если суждено погибнуть, то лучше я лягу здесь! – овладев, наконец, собой, твёрдо сказал Давыдов. Он глянул на Багратиона – лицо того пылало, глаза горели. Багратион взял Давыдова за руку и сказал:

– Нынче же пойду к Кутузову и изложу ему твои мысли...

«Поговорит ли сегодня?» – с тревогой думал Давыдов. Он понимал, что со дня на день будет большая битва. Сегодня ему ещё могли дать приличных размеров отряд, а после битвы каждая сабля будет на счету. «Да ещё буду ли сам жив?» – подумал Давыдов. Идея партизанства казалась ему простой и гениальной. Только тревожить неприятеля должен был не один отряд Винцингероде, а сотни, тысячи. «Тогда и крестьяне поднимутся... – думал Давыдов. – Сейчас-то в каждой деревне бояться: убьют они француза, а другие французы сожгут село. А если французов будут бить везде, так не угонятся сжигать».

Он закутался в бурку, закурил трубку и задумался, невидящими глазами уставившись на поле. Бедряга, не решаясь потревожить, сидел на коне рядом...

...Только вечером 22 августа решилась судьба Давыдова, а может – и всей войны, Европы, Наполеона: Багратион вызвал Давыдова к себе и сообщил, что Кутузов согласен послать французам в тыл одну партию «для пробы», но сил даёт мало – всего пятьдесят гусар и сто пятьдесят казаков.

– Он хочет, чтобы ты сам взялся за это дело... – сказал Багратион.

«А кто же ещё?!» – удивлённо подумал Давыдов и ответил:

– Я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие, а потом уступить исполнение его другому. Вы сам знаете, что я готов на всё, была бы только польза. Но для пользы – людей мало...

– Он больше не даёт... – развел руками Багратион.

– Если так, то я иду с этим числом! – воскликнул Давыдов. – Авось открою путь большим отрядам.

– Я бы тебе дал сразу три тысячи, ибо не люблю ошупью дела делать, но об этом нечего и говорить... – Багратион пожал плечами. – Кутузов сам назначил силу партии, надо повиноваться.

– Повинуюсь, – усмехнувшись, ответил Давыдов.

(Из-за канцелярских проволочек его отряд не смог выйти 23 августа, а 24-го был бой за Шевардино, и Давыдов остался сам: «как оставить пир, пока стучат стаканами?» – писал он потом. От армии партия Давыдова отправилась лишь 25 августа).

Глава четвертая

– Остановимся здесь! – сказал Николай Муравьев, натягивая поводья перед каким-то сараем. Деревня, в которую въехали офицеры генерального штаба, была Татарки (называвшаяся также Татариково и Татариново). Десяток избёнок частью был уже занят, частью – безжалостно разобран войсками на разные нужды. Сарай по меркам похода был удачей. Офицеры забрались в него через небольшую дыру невысоко от пола. Шибало в нос разными запахами, но Муравьев и его товарищи за время похода и не к такому привыкли.

Все населившие сарай офицеры были грязны и чумазы, но давно перестали замечать это. Прожжённые при частых ночёвках у костра шинели снимали редко. Сапоги давно пропитались водой и были сырыми даже в сухие дни (да ведь и выступать в поход приходилось рано, по росе). Николай Муравьев подумал, не снять ли сапоги – ноги, покрытые язвами, зудели нестерпимо, – но представил, как мучительно будет стягивать сапоги, а потом ведь неминуемо придётся их надевать, и решил перемочься так.

Он с тревогой посмотрел на своего брата Михаила. Тому было 16 лет. Ещё при подходе армии к Смоленску он начал кашлять, слабел, то и дело покрывался потом, по ночам его била лихорадка и даже в самые жаркие дни ему было холодно. При этом, он ездил с поручениями и ни разу не сказался больным.

– Миша, давай-ка я тебе сделаю чаю... – сказал Николай, стараясь улыбаться так, будто у Михаила лицо не покрыто холодным потом, не мутны глаза и не высохли губы. Михаил понимал улыбку брата, улыбнулся ему в ответ и ничего не ответил – не было сил. Николай Муравьев стал шарить в своем чемодане в поисках заварки. В уголках глаз у него было горячо от слёз.

Они уже и забыли наверняка, как мечтали о бивачной жизни, выезжая в феврале 1812 года из Петербурга к армии. Тогда эта жизнь казалась им наполненной невыразимой прелестью и мужеством. Вместо прелести появились вши да болезни, большие и малые. Не было денег и весь поход Муравьевы жили едва ли не голодом. Язвы на ногах Николая Муравьева, как пояснил ему доктор, были следствием цинги.

По обычаю тех лет Муравьевы числились под номерами: Михаил – Муравьев 3-й, Николай – Муравьев 2-й, а был ещё Муравьев 1-й, старший брат, 20-летний Александр, которого в Царёво-Займище прикомандировали к командовавшему арьергардом генералу Коновницину.

– Жаль, господа, что в этом сарае не спряталась какая-нибудь курица... – сказал Георгий Мейндорф, ещё весной, при первом знакомстве, прозванный остальными Чёрным за постоянно хмурый угрюмый вид. Потом оказалось, что это маска, носить которую у Мейндорфа скоро не осталось ни охоты, ни сил. Маска слетела, но прозвище осталось. – Да и вообще деревушка такова, что в ней вряд ли где имеются съестные припасы.

– Надо прибиться к фуражирам, может что и добудем... – проговорил 21-летний квартирмейстер Александр Щербинин, общий друг Муравьевых.

– Кто же пойдёт? – спросил Мейндорф.

– Видно, это буду я, – ответил Щербинин. – Муравьевы едва живы, а вы, Георгий, добывали провиант вчера.

Щербинин ещё немного полежал, явно решаясь на нелёгкий для него поступок, потом быстро встал, выбрался наружу, завернулся в шинель и пошёл к лошадям.

Тут Николай Муравьев всё же нашёл мешочек с жалким количеством чая.

– Сейчас, Миша, будет тебе теплее. Попируем, как в Сырце, помнишь?

Сырце было имение Муравьевых, куда они заехали по пути к армии ещё зимой. Слуги, последний раз видевшие своих молодых барчуков ещё когда те были совсем детьми, сбежались посмотреть на них, повзрослевших, приводили своих детей. Был сготовлен славный обед, воспоминания о котором в походе иногда грели, иногда мучили. Братья держали себя по-взрос-

лему, как того требовал мундир, вели со стариками разные степенные разговоры, о чём потом вспоминали со смехом и некоторым стыдом. Они взяли себе в доме кто что: Александр отыскал где-то старую саблю, Николай – лядунку, а все вместе набрали зачем-то чайников и стаканов. Николай вспомнил, как деревенский старшина Спиридон Морозов принёс им список вещей и попросил «для порядку» отметить в нём, что взято, и как при этом они снова почувствовали себя мальчишками, которым вот-вот влетит от отца... Один из тех чайников сейчас и стоял на огне, который Николай подкармливал, рубя саблей в небольшие поленья найденную в сарае доску. Костёр он развел прямо здесь, под крышей – хоть и дымно, а всё же и тепло.

Когда чай вскипел, Муравьёв заварил его в одной кружке – при этой системе щепотка чая осталась и назавтра. В конце концов, главным в этом чае был не вкус, а температура. Михаил поднялся и пил чай, держа кружку обоими руками – так было теплее. Николай замечал, что чай, похоже, не греет брата. Лучшим лекарством была бы передышка на несколько дней и хоть какая-нибудь еда – но как раз этого никто не мог обещать.

Допив пустой чай, Михаил улыбнулся и сказал:

– Однако я посплю. Но если Щербинин придёт не с пустыми руками, непременно будите!

Николай улыбнулся ему в ответ. А когда Михаил завернулся в шинель и лёг лицом к деревянной стене, Николай выбрался из сарая наружу, дошёл до своей лошади по кличке Казак и зарылся в её гриву, чтобы тем, кто ходит вокруг, не было видно его слёз...

Глава пятая

Начертить план (снять кроки) поля поручено было квартирмейстерскому поручику Егору Траскину. Весь день 22-го августа он провёл на поле, постепенно объезжая его и срисовывая часть за частью на листы бумаги, чтобы вечером вычертить единый план на одном листе. От края до края всё пространство составило восемь с половиной вёрст (около девяти километров). Траскин, как и его товарищи по Генеральному штабу, гревшиеся сейчас чаем в татариковском сарае, был усталый молодой человек, крайне измученный тяготами похода. К тому же поле это было уже далеко не первым, на котором предполагалось дать битву и которое срисовывал Траскин, и на лице Кутузова утром он не увидел особой решимости дать битву именно здесь. Работа представлялась Траскину бесполезной. К Утице он устал настолько, что рисовал уже кое-как, лишь бы быстрее отделаться, поэтому Утицкий лес получился у Траскина больше чем был.

23 августа Барклай, не дожидаясь, пока Кутузов напишет диспозицию, начал укреплять те места, на которых разместилась его армия: ставили батареи вдоль реки Колочи, у Горок, готовили к бою село Бородино. Особо же усиливали крайний правый фланг. Хотя он и без того был прикрыт излучиной рек Колоча и Москва, но здесь приступили к возведению трёх люнетов, связанных куртинами – это была земляная крепостца. Барклай ждал сюрпризов от Наполеона, а обход по флангу, который кажется противнику прикрытым самой природой до полной неприступности – очень хороший сюрприз.

Багратион же бездействовал – определённости в том, где будет левый фланг русской армии, не было. Да к тому же у 2-й армии отняли весь шанцевый инструмент в пользу 1-й армии. Потом, правда, приказ был отменён, но лопат и кирок всё равно было крайне мало. Багратион свирепел всё больше и больше. Он в эту кампанию считал, что все вокруг едва ли не нарочно оставляют на долю его армии все беды и несчастья. Вот и сейчас выходило так, что его армия имела за спиной Старую Смоленскую дорогу и Утицкий лес. «Придут ко мне лесом, а я и не замечу!» – угрюмо думал князь Багратион, выехав утром 23 августа из деревни Семёновское в Шевардино, где должен был встретиться с Кутузовым.

С Кутузовым приехал и Барклай. Багратион ещё раз сказал, что его левый фланг при таком расположении войск находится в крайней опасности. Кутузов, подумав, предложил, если к тому вынудит бой, отступить за Шевардинский курган, ближе к Семёновскому.

– Каково же будет нам отступать в бой, под огнём?! – спросил Багратион. – Не лучше ли перенести туда левый фланг сейчас, когда есть время его укрепить?

Кутузов, неприятно удивлённый тем накалом, с которым вёлся разговор, нахмурился, пожевал губами и сказал, наконец:

– Отклоним левый фланг так, чтобы вот тот овраг (он показал рукой) пролегал перед его фронтом. Оконечность фланга надобно укрепить флешами. В таком положении и Старая Смоленская дорога будет под твоим призором, Пётр Иванович...

На том и порешили. Однако сила инерции (да ещё, по-видимому, нежелание просто так, без кровавой платы, отдавать неприятелю хороший пункт) была такова, что 23-го, одновременно с началом работ над укреплениями близ Семёновского (то, что потом названо было Багратионовы флешы), решено было строить и пятиугольный редут на Шевардинском кургане. Часть дня прошла за сбором шанцевого инструмента и распределением между Шевардиным и Семёновским сапёров, инженеров и землекопов, в которые отряжены были московские ополченцы. Работы начались только вечером 23-го.

Глава шестая

Вечером 23 августа у всех, кто населял старый сарай в Татарках, была радость – к Муравьевым приехал их старший брат Александр. Арьергард Коновницына, к которому он был командирован последние дни, приблизился к армии, и Александр вернулся к Барклаю, при котором и должен был состоять.

По этому поводу закатали небольшую пирушку, благо накануне Щербинин оказался удачлив. Особой ценностью была бутылка рома, привезённая Александром. Сожалея, что обстоятельства не позволяют сделать жжёнку (хоть ром и был её главной составляющей, но всё же его одного было мало, а больше ничего не имелось), офицеры заправили ромом остатки чая и расположились в сарае, который теперь казался им даже уютным.

– Жаркое было вчера дело с французами под Гриднево! Я и сам действовал с саблей в руках! – возбуждённо проговорил Александр Муравьев. – Весь поход – карандаши да чертежи. А вчера попали мы под французскую кавалерию. Вижу – летят они на нас! Вытащил саблю. У нас командуют: «Вперёд, марш, марш!». Ну, думаю, всё: быть рубке! Мы понеслись. Но до рубки не дошло – мы от французов остановились на пистолетный выстрел и начали друг в друга палить. А у меня-то и пистолета нет. Ладно хоть потом снова мы сделали напор и французы показали тыл.

– Ну и что, дотянулся ты хоть до одного француза? – спросил Михаил Муравьев, глядя на брата светящимися в темноте глазами.

– Нет, братец, не догнал... – отвечал Александр и порадовался, что в сарае темно – вид брата напугал его, и сейчас слёзы просились на глаза.

– Дааа. И я ведь до службы думал, что конница с конницей рубится в каждой атаке, – проговорил Мейндорф. – Всё удивлялся – как же они годами служат при таких-то жестокостях? И только здесь увидел, что до сшибки доходит разве один раз из десяти.

– А вот я расскажу, господа, – начал уже чуть опьяневший Николай Муравьев. – В Смоленске попал я первый раз под пули. Они летели отовсюду, но я-то ещё не знал, что это пули и только когда увидел, как они бьются в забор слева от меня, понял. Да вот и шашку я тогда же подобрал!

Муравьев вытащил откуда-то сбоку и из-под себя шашку, действительно очень красивую. Все принялись её разглядывать, но не столько из любопытства – все ведь видели множество таких игрушек и начини друг перед другом хвалиться, хвалились бы до утра – сколько из уважения к Муравьеву.

– Шашку взял, а вот пулю, которая подлетела к моим ногам и которую хотел взять на память о первом виденном мною деле – потерял! – сказал с некоторой досадой Муравьев.

– Подберите любую другую – не сегодня так завтра будет много таких сувениров, – сказал, зевая, Щербинин.

– Думаете, мы всё же будем здесь биться? – спросил Мейндорф.

– Если по мне, так битва будет! – сказал Николай Муравьев с той твердостью, которая бывает у захмелевших молодых людей. – Ездили мы сегодня с полковником Павлом Ивановичем Нейгартом на правый фланг укреплять позицию. И на высоте напротив корпуса Баговута видим – стоит Кутузов со штабом. Остановились мы, гадаем – о чём бы мог быть разговор? И тут слышим – Баговут что-то кричит по-немецки. А это, оказывается, из леса вылетел орёл и начал над Кутузовым кружить! Прямо над головой старика! А Баговут-то и кричал: «Айн адлер! Айн адлер!»... Так что и сражению быть, и славе. Польём мы наши поля французской кровью!

Все замолчали – понятно было, что ведь и своей крови прольётся немало, и для кого-то из них нынешняя чашка рома может быть последней. Говорить об этом не принято было – в

таких разговорах будто была слабость. Но себя не перехитришь. Нынешний день, 23-е, была пятница. «Кто из нас доживет до понедельника? – подумал вдруг Михаил. – А до следующего понедельника?»...

Хотя от рома и приезда брата ему стало лучше, но он всё равно понимал, что уже давно не хватает ему сил терпеть эту усталость и нужду. Он вспомнил, как в Вильно они мечтали о почестях и славе, но по бедности и мечты были с воробьиными крыльями – брат Николай, например, сказал, что останется доволен и Владимирским крестом – и даже не на шею, а в петлицу. (Как раз Николай стал потом из всех братьев большим военачальником, в 1855 году взял турецкую крепость Карс, за что награждён Георгиевским крестом второй степени, о котором в молодости не осмеливался и мечтать).

– Николай, а остался ли ещё ром? – Мейндорф прервал молчание, которое становилось ощутимо тягостным. – Давайте лучше судачить о наших генералах – за этим время пройдет незаметно.

Все захохотали. Тут же наладился оживлённый разговор.

Глава седьмая

Вечером 23-го августа начались работы на Семёновских флешах и Шевардинском кургане. Багратион, не желавший утомлять работой солдат – не для того и набраны, да и не сегодня-завтра битва – послал в 1-ю армию требование прислать рабочих. Но в 1-й армии рабочие были нужны самим – требование осталось без ответа. Решено было употребить для работ ополченцев, но и это решилось не сразу – ополченцы успели поработать на флешах только 25-го числа. Неторопливость эта объяснялась тем, что и Багратион, и Барклай, и Кутузов полагали, что арьергард Коновницына удержит неприятеля вдали от поля ещё два дня (к тому же и французы разбаловали русскую армию своей неторопливостью и остановками по любой причине и без неё). Однако французы вдруг проявили в арьергардном сражении странный напор и вечером 23-го были уже в Гриднево, в 12-ти с небольших верстах от новой позиции русской армии, на расстоянии одного неторопливого перехода.

Предчувствуя неладное, Шевардинский редут строили всю ночь и всё утро, уже слыша приближающуюся пальбу. Коновницын при отходе принял влево и ушёл по Новой Смоленской дороге к армии. К Шевардину утром 24 августа вышла только та часть арьергарда, которой командовал граф Сиверс. Возле редута находился корпус генерал-лейтенанта князя Горчакова, состоявший из 27-й пехотной дивизии, трёх егерских и двух драгунских полков.

Сиверс и Горчаков встретились возле редута. Хотя они и были почти одних лет (Сиверсу – 35-ть, а Горчакову – 33-и, при этом Горчаков был старше чином), но из-за унылого и будто бы изнурённого лица Сиверс казался старше круглолицего, кудрявого Горчакова, почти постоянно улыбавшегося. К тому же, Сиверс понимал, что его ждали на Бородинском поле разве что завтра, и чувствовал некоторую вину за то, что не сумел удержаться на позиции. Но уж больно решительно взялись за него французы!

– Добрый день, Карл Карлович! – сказал ему Горчаков, подъезжая к Сиверсу. С Горчаковым был и Неверовский, командир 27-й пехотной дивизии, составлявшей основу корпуса Горчакова. Сиверс грустно посмотрел на Горчакова. «Хорошо же тебе весельчаком быть. А вот прошёл бы с армией от самой границы, посмотрел бы я на тебя...» – подумал Сиверс. Горчаков в 1809 году в письме неосторожно поздравил австрийского эрцгерцога с битвой при Ваграме, где Наполеон едва не обломал об австрийков зубы. На беду в то время, после Тильзита, Россия была Наполеону союзник. Перехваченное письмо французы представили императору Александру и тот Горчакова выгнал из службы «навечно». Оба при этом понимали, что уж тут-то ничего «вечного» не будет – так и вышло: после начала войны, 1 июля, Горчаков был возвращён в службу. Однако первых, самых тяжёлых, недель похода, когда войска шли в непроглядной пыли, когда ужасная жара сменялась ураганами, и вновь жарой, когда не то что река или ручей, но любая лужа на пути войск немедленно выпивалась, Горчаков не застал.

– Разве добрый? – спросил Сиверс.

– А разве нет? Дело к битве! – отвечал Горчаков. – А нам и вовсе её ждать не приходится – вы же на своём хвосте привели нам гостей?

Горчаков при этом лукаво улыбнулся. Сиверс нахмурился и вздохнул.

– Бросьте! – сказал Горчаков. – И мы их ждём, и князь Кутузов ждёт. Нам бы только так сделать, чтобы французы разгон потеряли. Много ли их идёт за вами?

– Боюсь, что вся армия, – усмехнувшись, ответил Сиверс. – Если они навалятся все, то нас ненадолго хватит.

– К счастью, местность такова, что все не пройдут. Да и времени им не хватит – осенний день короток... – Горчаков, говоря это, вертел головой. – Вот видите высоту слева от редута? Устройте там батарею, и большую. А вот видите пригорок справа? Там тоже поставьте пушки – сколько поместится. А там уж посмотрим...

Сиверс коротко поклонился и поскакал к своему отряду – распорядиться. Издалека он увидел редут, с которого ещё не ушли рабочие. «Что-то не внушает он опаски... – удивленно подумал Сиверс. – Неужто не выкопали ничего?»...

Редут и правда был сделан едва ли наполовину. Кое-каким препятствием для неприятеля мог служить неглубокий ров, а прикрытием для артиллерии – невысокий вал. Чтобы насыпь не осыпалась, внутреннюю стенку обложили дёрном, но и это – не везде. Главной трудностью для французов могли быть крутые скаты самого кургана – на них и оставалось надеяться. «Русский «авось»... – подумал Сиверс, сам происходивший из Лифляндской губернии (нынче его скорее всего сочли бы эстонцем) и за 20 лет службы так и не привыкший к русскому фатализму. – Ни основательности, ни расчета»...

– А тебе, Дмитрий Петрович, – сказал Горчаков, проводив взглядом Сиверса и поворачиваясь к Неверовскому, – постановляю: держи свою дивизию в колоннах позади редута и в обиду его не давай.

Неверовский, пухлощёкий и с густыми бакенбардами, усмехнулся, чуть поклонился Горчакову, и поехал прочь, к видневшимся справа войскам.

Глава восьмая

Ещё в семь утра шедшая во французском авангарде 5-я дивизия генерала Компана уткнулась в русских. Маневрируя, французы теснили русских, и вскоре после полудня, выйдя из лесу, увидели огромное поле с линиями войск, кострами, дымами, блеском штыков. На пути к этому полю была высота, а на ней – большой редут.

– Надо сообщить Мюрату о том, что русские ждут нас здесь, – сказал генерал Монбрен одному из своих адъютантов. – Скажите, что они построили редут и имеют вокруг него большой гарнизон. Я полагаю, это уже основная их позиция. Пусть маршал решает – атакуем ли мы её сегодня или откладываем это удовольствие на завтра.

По обычаю тех дней, большие битвы не начинали после полудня. Но Наполеон, после попыток рассмотреть окрестности в зрительную трубку (поле застилала пелена дыма – чадили подожжённые русскими деревни), после совещания с Даву и Неем, решил всё же, что редут этот к основной позиции не относится и выдвинут русскими для решения каких-то своих мелких нужд. Редут велено было атаковать – надо было ведь расчистить выход на поле. С другой стороны, Наполеон надеялся, что в бой за редут втянется вся русская армия. Отдав приказ, Наполеон принялся мурлыкать себе под нос какую-то песенку – он был рад, что дело, наконец, склоняется к генеральной битве.

Компан пошёл с фронта, Понятовский со своим корпусом выходил во фланг и тыл редута. Следом за ними подходила вся армия – и вместе с ней Брандт и Гордон, увидевшие Шевардинский редут за несколько минут до того, как он окутался пороховым дымом.

Чтобы справиться с редутом побыстрее, для атаки были отряжены немалые войска – около 36 тысяч пехоты и конницы при 200 пушках, тотчас открывших отчаянный огонь.

– Ну, вам жарко придётся для первого раза, – сказал командир 57-го полка полковник Жан Луи Шаррьер лейтенанту Жаку Гардену, прибывшему к полку только вчера и получившему во 2-м батальоне роту, командир которой был накануне убит.

Гарден, казавшийся из-за тонких черт своего лица чрезвычайно молодым и от этого очень страдавший внутренне, и без того всю ночь провёл в нервном ожидании своего первого боя. Особенно, больше смерти, страшили его мысли о ранении, лазарете и хирургических операциях, рассказов о которых он наслушался от офицеров, преподававших в военной школе в Сен-Сире. К тому же накануне вечером какой-то солдат сказал, глядя на луну: «Какая она красная! Видно, много крови завтра прольётся»...

После этого Гарден не спал и теперь был в таком состоянии, что переложил в мундирный карман на сердце бумажник и платок, казавшиеся ему бронёй. Правда, утром, после переклички, батальон распустили – казалось, что боя не будет, и Гарден не хотел признаваться самому себе, как он этому рад. Но в три часа появился полковой адъютант с приказом, и полк выступил навстречу бою. Уже около часа полк находился под огнём и за это время настроение Гардена становилось всё лучше и лучше: он понимал, что с какой стороны ни глянь, а он находится под настоящим артиллерийским обстрелом и – не боится! Русские ядра сыпались градом, но пока что единственная неприятность, которую они доставили Гардену – забрызганный грязью рукав мундира, который Гарден, радуясь заделью, начал тут же чистить.

57-й линейный полк был одним из лучших в армии. Еще с Итальянского похода он носил звание «грозный». Состоял полк в основном из солдат-ветеранов. Командиром 2-го батальона был капитан Ла Булаэр, высокий брюнет с суровым, неприятным лицом и неожиданным при такой внешности слабым сильным голосом – Гардену уже пояснили, что виной всему пуля, пробившая Ла Булаэру грудь в сражении под Йеной. Время от времени Гарден ловил на себе взгляды Ла Булаэра и понимал, что тот в нём сомневается. От этого Гарден напускал на себя всё более героический вид.

Это тем более не составляло труда, что русские, убедясь в малой действенности ядер, переменили их на гранаты. Одна такая разорвалась вблизи от Гардена, убила рядом с ним солдата, а самому Гардену лишь продырявила осколком кивер. Ла Булаэр подошел к Гардену, поднявшему и разглядывавшему кивер, и сказал:

– Поздравляю вас, теперь вы можете быть спокойны на весь день.

Гарден сначала не понял, о чём это он. (К тому же, хоть Гарден и старался не показывать вида, но когда кивер сорвало с головы, ему показалось, что на миг он лишился чувств). Но тут Гарден вспомнил старинную солдатскую примету: дважды в одно место не попадает. Гарден, переполняясь странным ликованием, надел кивер чуть набекрень и сказал:

– Хочешь-не хочешь, а поклониться пришлось!

Ветераны 57-го, внимательно наблюдавшие за ним, одобрительно засмеялись. Один лишь Ла Булаэр смотрел хмуро. Потом он наклонился и тихо сказал Гардену:

– Я вас поздравляю – с вами ничего уже не случится. А вот я чувствую, что печь сегодня затоплена для меня... Каждый раз, когда я бывал ранен, рядом офицер получал пулю в сердце. И... – тут он перешёл на едва уловимый шёпот, – имена этих офицеров всегда начинались на «б»...

Гарден не знал, что сказать. Холодная волна окатила его, он смотрел на капитана во все глаза. Лицо капитана и правда показалось Гардену странным. Он вспомнил, как в училище рассказывали, будто предчувствие близкой смерти накладывает на лицо свой отпечаток, и сейчас пытался разглядеть, отличается ли лицо капитана от других лиц. Но капитан почти сразу после этих слов отошёл.

Ещё некоторое время полк стоял на месте, а затем двинулся вперёд. Гарден увидел по пути, что французская артиллерия обстреливает курган и редут с соседней высоты, которую русские почему-то оставили не занятой. Эта стрельба, понял Гарден, и была причиной того, что огонь русской артиллерии изрядно ослаб.

Тут 57-й вышел на открытое пространство и попал под ружейный огонь русских. Гардена удивило, что огонь этот почти не причинял полку вреда. Гарден с каждой минутой чувствовал себя всё лучше. «В конце концов, – подумал он, – сражение не такая уж страшная вещь!». Он уже думал, как будет рассказывать обо всем этом одному знакомому писателю в Париже.

Полк двигался вперёд беглым шагом. Русские стрелки вдруг умолкли. На всех это произвело странное впечатление. Солдаты 57-го начали переглядываться. Ла Булаэр, шедший с обнажённой шпагой рядом с Гарденом, просипел ему в ухо:

– Не нравится мне это молчание. Они что-то задумали.

Гарден уже и не рад был, что капитан выбрал его своим доверителем, но деваться было некуда. Между тем, 57-й дошёл уже до самого кургана. Гарден видел, что насыпи редута обвалились. Возбуждение его всё росло, он видел всё как в тумане. «О, чёрт!» – вдруг сказал кто-то рядом с ним. Гарден поднял глаза и увидел (впрочем, всю свою жизнь он не мог понять, видел ли он это или ему виделось?), как наверху выстроились в ряд русские гренадеры, каждый из которых, казалось Гардену, целил ему прямо в лоб!

Гарден на мгновение остолбенел.

– Ну теперь попляшем! – вдруг закричал рядом Ла Булаэр. – Добрый вечер!

В этот же миг русские выстрелили. Гарден зажмурился и не сразу открыл глаза. Ла Булаэр лежал у его ног – он был убит наповал. «Печать смерти... Печать смерти... Надо посмотреть»... – подумал Гарден, сам тут же удивляясь нелепости этого желания. Он быстро оглянулся – кроме него из всей роты оставались на ногах ещё только семь человек, как и Гарден, озиравшихся вокруг.

– Придите в себя, лейтенант! – полковник Жан Луи Шаррьер толкнул Гардена в плечо, быстро прошёл вперёд, снимая с головы кивер, цепляя его на острие шпаги и поднимая над

головой, чтобы все знали, где командир – так французы ходили в атаку ещё со времён революции.

– Да здравствует император! – вскричал полковник. – Вперёд, 57-й!

– АААААААААААААААААААА! – взревели вдруг те, кто ещё не был убит, и бросились вперёд. «АААААААААААААААА!» – взревел вместе с ними Гарден и тоже бросился вперёд. Это было последнее, что он помнил. Пришёл в себя Гарден уже на редуте, когда схватка кончилась. Гарден с удивлением посмотрел на свою шпагу – она была в чьей-то крови.

– Мой лейтенант, полковник зовёт вас! – подбежал к Гардену какой-то сержант.

Шаррьер сидел на зарядном ящике у входа в редут. Нога полковника была в крови, однако Шаррьер не обращал на это внимания.

– Гарден, кроме вас офицеров на ногах больше нет, командуйте, чтобы редут подготовили к обороне. Русские так просто нам его не оставят... Жаль, что меня зацепило, но редут взят!

И Шаррьер довольно захохотал.

Глава девятая

Когда французы взяли Шевардинский редут, было уже около семи вечера. До темноты в этот осенний день оставались минуты, но Горчаков, то ли взбешённый, что редут потерян, как ему казалось, слишком легко, а то ли просто увлекшись, вызвал резервы. Хотя понятно было, что редут свою задачу – не допустить французов на поле сразу – выполнил, но резервы были Горчакову Багратионом даны. Пришедшая пехота пошла в атаку, впереди Сибирского и Малороссийского гренадерских полков шли священники. По флангам редута сходилась кавалерия. Темнело всё больше, так что бились при свете горящей деревни Шевардино. Русские генералы утверждали потом, что редут был ещё трижды отбит у французов и только после этого оставлен им. Французы говорили, что ни разу не отдали русским то, что 57-й полк взял своей отчаянной атакой. Так или иначе, но поздним вечером всё, наконец, кончилось. 6-й батальон 57-го полка занял курган и провёл там ночь, среди стонов раненых людей и лошадей. Французы обшаривали карманы и ранцы мертвецов – как своих, так и тем более русских, у которых они брали водку и «русские бисквиты» (так французы называли наши армейские сухари).

В это же время Кутузов, убедясь, что ночного прорыва французов на поле не будет, поехал в Татариново, где для него была приготовлена изба. Карл Толь ещё днём сказал Кутузову, что кроки готовы – следовало разметить на них войска. Однако сделать это можно было лишь зная, чем кончится схватка за Шевардино, далеко ли после неё продвинутся французы. Упорство Горчакова Кутузов одобрял – если бы не оно, французы могли бы на хвосте отступающего отряда Горчакова въехать в русские порядки, и ещё неизвестно, чем бы мог обернуться такой бой. «В конце концов, и в темноте можно отлично друг друга убивать», – подумал Кутузов.

В избе Толь выложил на стол кроки – большую карту, начерченную от руки на нескольких склеенных листах. Кутузов уже всё обдумал: на случай, если французы решат обойти его правый фланг, ещё с 22 августа строились укрепления у деревни Маслово. Лес за Масловскими укреплениями заполняли егерские полки, а далее от них шли линии войск: в первой линии (кор-де-баталь), плечом к плечу – 2-й корпус Багговута, 4-й корпус Остерман-Толстого, 6-й корпус Дохтурова, 7-й корпус Раевского, и 8-й корпус Бороздина у деревни Семёновское. Во второй линии стояли кавалерийские корпуса. Ещё глубже, позади правого фланга стояла конница Уварова и Платова, за центром – гвардия, а за левым флангом – масса артиллерии. Кутузов по рассказам знал, что при Прейсиш-Эйлау артиллерийским огнём был расстрелян весь корпус Ожеро, и хоть не слишком этому верил, но всё же допускал. Центром позиции выходила деревня Горки, к которой справа примыкал 4-й корпус, а слева – 6-й. (На кроках нет укрепления, потом названного батареей Раевского – решение строить его и сделать центром позиции было принято позже).

Ожидая от Наполеона сюрприза на своем правом фланге, Кутузов решил и ему сделать ответный подарок: в нижнем левом углу карты, где была нарисована деревня Утица, приказал обозначить впереди неё 3-й пехотный корпус Тучкова, а позади – Московскую военную силу. Возле них своей рукой Кутузов написал: «Расположен скрытно». Толю, который наблюдал за всем этим со священным трепетом, Кутузов пояснил:

– Когда неприятель исчерпает свои силы, я пушу ему скрытое войско в тыл!

Толь тихо засмеялся.

– Отведи Тучкова на правый фланг сегодня же... – распорядился Кутузов. Толь тут же откланялся и вышел.

Карл Федорович Толь был человек не злой и не глупый. Но в 12-м году было ему уже за шестьдесят, а положения, которого, по его мнению, он заслуживал всегда, он добился впервые. С Суворовым в Швейцарии, с Кутузовым в 1805 году, на турецких войнах он был один

из многих. И вот только нынче выдвинулся в главные люди армии. Он торопился насладиться властью, привычки к которой у него не было совершенно. Поэтому он не упускал случая показать всем, что она – власть – у него есть.

Алексей Ермолов, в те дни – начальник штаба 1-й армии, позже написал о Толь: «офицер отличных дарований, способный со временем оказать большие заслуги; но смирять надо чрезмерное его самолюбие, и начальник его не должен быть слабым, дабы он не сделался излишне сильным. Он (...) столько привязан к своему мнению, что иногда вопреки здравому смыслу не признаёт самых здравых возражений». Вторая часть этого наблюдения подтвердилась 25 августа, когда решалось, какое укрепление строить на кургане в центре русской позиции. А сейчас, в полном соответствии с первой частью ермоловской характеристики, получив распоряжение Кутузова, Толь со своей свитой (его в те дни окружало множество молодых офицеров), минуя Барклая, поехал прямо в 3-й корпус, и, найдя Тучкова, приказал ему следовать за собой на самый край левого фланга. Барклай узнал об этом позже, случайно, только когда, объезжая войска, увидел, что масса войск снимается из его боевого порядка и велел спросить, на каком основании это делается.

Узнав, что это приказал Кутузов, а всем распоряжается Толь, Барклай в который уже раз сделал каменное лицо. Вид его допускал толкование, что он знал о намерениях Кутузова и перевод 3-го корпуса согласован с главнокомандующим 1-й армии. На деле ничего он не знал и не удивлялся этому – это было всего лишь одно из многочисленных его унижений последних дней. Да и не самое сильное, – думал теперь Барклай.

Ещё утром пришёл ему рескрипт императора Александра об удалении его с поста военного министра. «Нахожу я ваши занятия при армии столь важными и многотрудными, что полагаю исправление должности военного министра невозможным по совершенному недостатку времени, а равномерно по удалению, в котором вы находитесь от меня...» – писал царь. Но Барклай знал, что не расстояния тому причиной. Багратион весь поход писал всем о Барклае злобные письма. Но этот хоть по причине грузинской горячности своего мнения от Барклая не скрывал – а сколько было тех, кто интригуя за спиной, улыбался ему в лицо. Барклай уже давно не мог отделаться от мысли, что интригуют все, и ловил себя на том, что как-то особо взгляды даже на тех, кто по мизерности должности интриговать не может – вот хоть на своих адъютантов. Барклай понимал, что он просто безмерно устал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.